



В е ч е р н е е **Ш** ампанское

А. Байназарова



А. Байназарова

Вечернее шампанское

<https://litres.ru/74251527>

SelfPub; 2026

Аннотация

Поэт Владимир Остряков пытается сохранить себя в Москве 1920-х, где искусство требует ясности, а не красоты. Но когда он теряет голос, в его жизни появляется художник Александр Нотский — человек, который помогает ему снова начать слышать себя.

«Вечернее шампанское» — это повесть о цвете, упрямстве, любви, разлуке и

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	14
Конец ознакомительного фрагмента.	25

А. Байназарова

Вечернее шампанское

Глава 1

Вечернее шампанское

Часть первая. Рождение голоса

Глава 1. Грезы

Осень за окном стелилась сплошной серой пеленой. Небо, тяжелое и низкое, лишь изредка пропускало сквозь тучи бледные, почти призрачные лучи света, которые не согревали, а только подчеркивали холодность дня. В этом полумраке одиноко стоял старый одноэтажный деревянный дом. Его крыльцо, обитое выцветшей доской, тихо скрипело под весом времени, а рядом, на фоне унылого пейзажа, возвышалось сухое дерево – страж этого захолустья. Оно казалось живым, лишь благодаря своим изломанным ветвям, которые то и дело били по стеклу окна, создавая ритмичный, настойчивый стук.

Внутри дома царила тишина, нарушаемая едва уловимым и единственным звуком – отдаленным шуршанием карандаша по бумаге. Этот звук был тихим, но отчетливым, словно дыхание самого времени. Он заполнял пустоту комнаты сосредоточенностью и странным уютом – тем самым, которо-

го так не хватало снаружи. За окном бушевала осень, дерево пыталось пробиться внутрь, а внутри – лишь точка на листе, медленно обретавшая форму букв, а потом строк. Этот контраст между суровым внешним миром и тихим внутренним творческим процессом создавал ощущение защищенности на какое-то время.

Год 1895. На неровном деревянном полу лежит мальчик лет шести. В правой руке карандаш с тупым кончиком. А перед лицом клочок обоев, вырванный из-под стола в гостиной. Он написал две небольшие строки, что сплетались между собой как первое стихотворение:

*Я вижу, как мама уходит в туман,
А следом за мамой – мой сонный диван*

Мальчика звали Владимир. Он изредка поднимал голову к окну, за которым стучало дерево, и снова писал то, что приходило в его маленькую голову. Внешностью он пошел весь в отца: те же темно-русые волосы с землистым отливом и серо-голубые глаза, что были так похожи на осеннее небо за стеклом дома. Но в них, в отличие от неба и отцовской строгости, теплилось что-то живое. Что именно – он сам бы не объяснил.

Внезапно, как и лучи солнца, в гостиную вошла мама – Надежда Литовская. Она была, в отличие от отца, доброй и любила сына. Мама обратила внимание, что сын лежит на полу и что-то старательно пишет на ободранном кусочке, но не стала его отвлекать – мало ли, рисует или выводит буквы.

Только позвала:

— Володя, ужин.

Мальчик не поднял головы, но карандаш на долю секунды завис в воздухе, прежде чем снова лечь на бумагу с новой силой. Мать постояла на пороге, вздохнула и тихо вышла в кухню.

Когда четверостишие было дописано, Владимир встал с пола. Карандаш и кусок обоев остались лежать на месте. Мальчик отряхнул белую рубашонку, поправил брюки и направился туда, откуда уже тянул запах супа со свежим хлебом. Но на кухне обстановка стала другой: за столом, уткнувшись в газету «Русское слово» вчерашнего выпуска, сидел отец. Складка на лбу и поджатые губы ясно говорили о его строгости, которую он всегда показывал и надеялся, что мальчик вырастет таким же, но Владимир хоть и пошел внешностью в него, характером был добр и спокоен, да и лишнего ничего не говорил.

Сев на деревянную скамейку рядом, он смотрел в сторону отца, надеясь, что тот обратит на него хоть долю внимания, но он лишь кашлял и перелистывал газету, читая дальше. Не дождавшись зрительного внимания, Володя опустил голову, молча слушая, как мама достает тарелки и накладывает суп.

— Руки помыл? — спросил отец, так же читая газету и даже не взглянув на сына.

Владимир замер, сжав под столом свои руки. Он их не мыл, но лишь коротко кивнул и после добавил:

— Да.

Последующего ответа от отца не последовало и мальчик спокойно выдохнул, прежде чем мама поставила перед ним ложку и тарелку горячего супа с кусочком свежего хлеба, что испекла утром.

Они ели в тишине. Кухня наполнилась лишь звучанием ложек о края тарелок, отец все так же шуршал газетой, медленно поднося ложку ко рту. Володя смотрел в тарелку и думал о том, что дописал сегодня. О том, что эти строки – его, и никто их не отнимет. Даже отец.

После ужина он ушел в свою комнату. Небольшая комнатуха: окно напротив входа, с правой стороны – заправленная с утра кровать. Подушка, поставленная как парус корабля. Владимир лег на кровать, накрывшись шерстяным одеялом до подбородка. Сон не шел. В голове кружились те написанные строки. Казалось, что они светились изнутри и не давали ему уснуть.

Ночь была темной, тучи рассеялись, открывая черное небо с многочисленными белыми точками, что сияли вместе с полной луной. За окном все еще слышался стук ветви по стеклу и другие звуки, которые ночью слышны отчетливее, чем днем. Из спальни родителей доносились шепотки, прежде чем весь дом уснул, Володя не спал. Он тихо встал с кровати, которая скрипнула от его веса. И прокрался под лунным светом в сторону гостиной, достав из-под стола тот самый клочок обоев. Владимир перечитал строки еще раз,

карандаш в темноте комнаты почти не различался, но его это не волновало. Он осторожно сел на пол, положив обрывок перед собой, туда, где света было больше и добавил еще две строчки:

Туман — это память, мгновенья мгла ,

А мама на веки, со мною всегда

Потом Володя встал с пола и кусочком обоев в руках пошел обратно в свою комнату. Засунув свое первое стихотворение под подушку, он лег на кровать и только тогда заснул крепким, полным спокойствия сном.

Утро. Владимир встал уже как час назад и сейчас сидит на кухне допивая чай. Мама убирается по дому и в этот момент зашла к сыну в спальню с веником из сухой соломы, чтоб прибрать под кроватью. Взяв его обеими руками, Надежда начала подметать, выгребая из-под кровати пыль и вдруг, нащупала клочок обоев. Она нагнулась, чтоб взять бумажку и заметила на нем слова детским, неровным почерком. Мама помнила, что вчера сын лежал на полу с карандашом, но не приглядывалась. А теперь она увидела строки

Надежда поставила веник около кровати и прошла к сыну, который поставил, пустую кружку на стол. Володя сначала заметил маму, а потом и свой кусок обоев. Руки сжали чашку сильнее, хоть мама никогда не ругалась на него, но по лицу ее можно было заметить испуг, что встревожил мальчика.

— Володя, что это? — тихо спросила мама, показывая сыну кусок бумаги.

— Стих. — Тихо, но четко ответил Владимир. Взгляд метался с мамы на листок.

Надежда вздохнула снова, опустив руку с бумажкой и ответила, перекрестив сына:

— Господь с тобой. Стихи — это нервная болезнь.

Володя не ответил, опустив голову и медленно разжимая руки на чашке, прежде чем в дом вошел отец, что вернулся с рынка.

Константин Литовский — был рязанский мещанин, перебравшийся в Москву продавать мануфактуру. Стихов не читал принципиально. Он считал, что это все пустая трата времени и денег.

Зайдя в дом и сняв пальто, Константин сразу заметил Надю и Владимира рядом, брови его нахмурились в привычном жесте. Он зашел в кухню и, обведя обоих взглядом заметил кусок обоев в руках жены. От этого взгляда сердце мальчика на время замерло, прежде чем застучать сильнее, а руки сжались вокруг кружки.

— Дай. — Коротко, но требовательно попросил отец, протянув руку к Наде.

Мать поджала губы, чтоб скрыть обиду и страх за сына, но медленно протянула клочок к тяжелой и шершавой ладони мужа, тот же взял его, слегка смяв в пальцах. Глаза быстро пробежали по четырем строкам, прежде чем поднялись на сына. В его глазах не было отвращения или раздражения, только больное для Володи равнодушие.

— Выкинь. — Проговорил Константин хриплым голосом, обращение было к Наде, чем к сыну.

Он кинул смятый обрывок на стол и вышел из кухни. Последнее, что заметил обиженный Володя, — как отец провел рукой по лицу в явном раздражении.

Шло время. Владимир из шестилетнего мальчика вырос в высокого юношу, но стихи не бросил. Он писал везде, где мог: на полях учебников, на газетных обрезках, на белых манжетах — за это его невзлюбил учитель чистописания.

Старик с дрожащими руками и тяжелой линейкой терпеть не мог «красивые души». Однажды он заметил на рукаве Литовского несколько неровных строк, выведенных карандашом. Лицо его побагровело.

— Что это?! — закричал учитель, хватая его за запястье и трясая перед ним.

— Стихи, — ответил Владимир, не опуская глаз.

— Красивая душа не пишет каллиграфически! — прошипел старик и взмахнул линейкой.

Два хлопка дерева по коже разлетелись по классу, все молчали, учитель был весь красный от ярости. Но Володя стерпел, не издав ни звука. В тот день он понял: училище — не место для его творчества.

Когда Владимир вернулся домой, там его ждала обстановка еще напряженнее. Отец сидел в гостиной на своем кресле,

читая газету. Юноша прошел мимо, Константин кашлянул, не так как кашляют обычно – это означало остановиться и подойти. Володя тихо вздохнул и вернулся в гостиную, остановившись перед отцом. Сердце стучало в груди, а в мыслях уже пронесли слова: *Он знает. Ему пожаловались.*

— Бросай эту дурь, — сказал Константин, даже не глядя на сына. — Учись на мещанина, торгуй. Стихи – не дело.

— Я уйду из училища, — тихо ответил Владимир.

Отец поднял голову. Впервые посмотрел сыну в глаза – холодно, тяжело, как всегда делал в детстве, когда тот делал что-то не так.

— И куда же?

— В университет. На историко-филологический.

Константин долго молчал. Потом усмехнулся – сухо, беззвучно.

— Ну и проваливай.

Но Владимир не провалился. Он ушел сам. В 1907 году, в возрасте восемнадцати лет, он бросил училище и поступил в университет. Туда, где стихи не считали нервной болезнью, где их не осуждали и не сминали в комок.

Шло время. Владимир учился в историко-филологическом университете, он дал ему то, чего не смогло дать училище: воздух, свободу, споры до утра и одно слово, которое он запомнит на всю жизнь «*футуризм*».

Впервые он услышал это слово на лекции. Молодой пре-

подаватель, который расхаживал по классу с небольшой книжонкой, небрежно бросил: «*Футуристы рвут старые формы*». И тогда Владимир понял: вот оно. Вот где он сможет показать свои стихи и где, наконец, найдет своё имя. Литовский – звучит слишком мягко, слишком... Старинно. Ему хотелось чего-то нового, как и это направление, чего-то острого, что будет резать языки, как осколок стекла. И в голову сразу пришла она: *Остряков*.

Он взял этот псевдоним в 1914 году, когда в газете согласились напечатать его первое стихотворение. Редактор спросила:

— Как подписать?

— Остряков, — ответил Владимир, чувствуя, как буквы режут язык.

Стихотворение называлось «Ломающий ритм». Оно было в духе русского футуризма с акцентом на динамику и намеренное разрушение привычной литературы. И ни слова о политике, ни слова о правительстве. Только человек.

И его напечатали в местной газете на одном из листов с громким заголовком, про новое направление с лозунгом, что звучал еще в 1912 году: «*Пощечина общественному вкусу!*».

Владимир держал в руках газету, в нос бил запах свежей краски. Он смотрел на свою фамилию – новую, чужую, свою – и не верил своим глазам. Потом улыбнулся, как не улыбался в детстве и сложив газету пополам, спрятал ее под подушку и лег спать. Как в детстве.

*Дикий слог – мой снаряд, мой бунтарь!
Слом размера – удар по цензуре,
Я – безгласный, ставший собою букварь,
Раздирающий швы устарелой культуры.
Свобода – хрип, сбивающий бег,
Где такт – восстание против правил!
В сердце сломанный – новый человек,
Что слово свое на метафору вставил.*

Глава 2. Розовое небо

Глава 2

Глава 2. Розовое небо

Воздух в России менялся быстрее, чем Владимир успевал дописать новые строки своих стихов. 1915 год пах еще порохом и усталостью – и этим запахом пропитывались даже самые светлые его, написанные в то время черновики. Стихи выходили тонкими сборниками: бумага дорожала с каждым разом, тираж – маленький, и каждый такой экземпляр казался хрупким, как стекло, что вот-вот разобьется из-за таких перемен в стране. *«Розовое небо»* был напечатан в начале года, тоже в небольших количествах и с тонкими, почти воздушными страницами, над которыми Остряков немало раз задумывался, а потом переписывал.

Критики называли *«Розовое небо»*, как что-то «слишком цветное, слишком оторванное от земли и ни слова о войне». А Володя не желал ни земли, ни войны. Он хотел неба, скорости, разрыва, а не того, что ему навязывали каждый раз после очередного прочтения его стихов и потому каждый раз усмехался. Но усмехался, так как знал: его сборники разбирают быстрее, чем успевали печатать новые тиражи. Их читали студенты на вечерах и переписывали от руки.

Но потом пришла революция. В 1917 году. Сначала февральская суэта: город заговорил по новым, резким интонациям, вывески менялись быстрее, чем успевали выцветать

полотна и засохнуть краска. А под окнами чуть ли не каждый день росли митинги, как сорняки между городских плит.

Владимир слушал, хмурился, но даже при таких условиях продолжал писать. Ему казалось, что искусство выше политики. Он надеялся, что революция даст свободу. Но ошибся. Революция не дала свободы – она давала новые приказы, новые ритмы, которые не совпадали с его собственными. И в этом несовпадении он впервые почувствовал себя чужим.

Однажды он держал в руках свежий номер газеты, и пальцы чуть дрожали, но не от холода, хотя в комнате было зябко. Февраль дышал чем-то новым: воздух будто стал легче, даже сырость в подъездах казалась не гнилью, а свежестью после бури. «Свобода!» – кричали с каждого угла. И Владимир кивал, будто это слово относилось лично к нему. Он, как и другие верил: теперь искусство, наконец, сбросит старый корсет правил и больше не будет никаких «так принято» или «это не поймут». Революция казалась ему распахнутым окном, через которое рвется ветер грядущих перемен, способный раздуть самую слабую искру. А Володя записывал в блокнот новые строки:

Рвать синтаксис. Рвать интонацию.

Пусть строки бегут, как люди на станцию!

В те дни Володя ходил по улицам города со счастливой улыбкой, видя, как быстро меняются вывески: старые буквы сбивались, новые прибывали прямо поверх или там где было место, косо, наспех – как будто сам город учился писать за-

ново. На литературных вечерах говорили громко, перебивали друг друга, спорили до хрипоты, и в этом шуме Острякову слышался ритм будущего и чего-то нового. Он читал свои стихи, и публика встречала их не вежливыми, молчаливыми аплодисментами, а криками, смехом, свистом — и это казалось ему настоящей жизнью. «Теперь можно все», — думал писатель, возвращаясь, домой по тёмным улицам, где луна светила ярче, чем фонари, что горели через один.

А потом воздух начал меняться еще сильнее и не в лучшую сторону, как это было в самом начале. Сначала это были мелочи. В типографии, где печатали его сборники, все чаще пожимали плечами со словами:

— Бумага? Не знаем, когда будет.

И эти слова еще сильнее задевали Острякова, чем то, что творилось на улицах. Заказы срывались, сроки плыли, и даже энтузиазм казался теперь не энергией, а суетой. Митинги под окнами перестали звучать как гимн свободе — они сливались в один бесконечный гул, в котором уже нельзя разобрать ни смысла, ни к чему стремились.

К осени надежда стала оседать, как пыль после марша тех, кто держал плакаты. Владимир все еще писал, но теперь ему казалось, что слова тяжелеют и плывут прямо на бумаге. Его «ломаный» ритм, который раньше воспринимали как дерзость, теперь похож на каприз, а кому-то помеха. На одном из вечеров кто-то из публики выкрикнул: «Нам не нужна поэзия! Нам нужна ясность!». И Остряков замер у трибуны,

чувствуя, как внутри что-то отбрасывается.

Октябрь принес не крылья, а сквозняк. В комнате стало еще холоднее, печка почти не грела, и Владимиру оставалось только кутаться в старый шарф, пытаясь согреться и найти хоть малейший смысл в том, что происходит. Он все чаще ловил себя на мысли, что революция, которую он принимал за освобождение искусства, на деле требовала от него совершенно другого: быть понятным, полезным, быть «своим» в новом обществе. А он не знал, как это – быть своим в мире, где каждый день переписывают правила.

Как-то раз утром Володя выглянул в окно и увидел, как рабочие сбивают последнюю старую вывеску. Теперь на ее месте не было ничего – только голая стена, по которой прошла трещина. И в этой пустоте Остряков вдруг почувствовал не простор, а тишину, от которой становилось не по себе. Пройдя к столу, Владимир опустился на стул и взял в руки блокнот, открыв его на чистых страницах, долго рассматривал, как будто там вот-вот появятся новые строки или ответы на вопросы. Раньше он боялся, что ему нечего сказать. Теперь боится, что его не захотят слушать.

Надежда растаяла не сразу, а по каплям, как снег в грязных лужах, что только успевал лечь на асфальт, но сразу таял. И когда Владимир, наконец, понял, что ошибся, ему стало горько, не от того, что мир изменился, а от того, что он так верил в это, будто эти перемены специально были созданы для него и его творчества.

1918 год встретил Владимира стылým ветром и пустыми полками в лавках. Бумага в те дни стала роскошью, а чернила редкостной вещью. А слова тяжелели с каждым разом, как город со своей атмосферой: воздух, казалось, был пропитан не кислородом, а приказами, сводками и новыми распоряжениями.

Именно в эту глухую, холодную зиму Остряков и писал свой второй сборник «Земля цветная». Не как манифест, не как вызов – а как попытку удержать хоть что-то живое в мире, который еще настойчивее требовал простоты, ясности и полезности. Он нарочно делал строки пестрыми, нарочно добавлял в них цвета, какие мог вспомнить: багрянец заката с окна, весенняя зеленая трава рядом с домом, которую видел еще в детстве, охру старых домов и заложенных газет, лазурь, которой больше не было в небе.

— Пусть будет цветная, — шептал Остряков, водя пером по шершавой бумаге. — Пусть хотя бы земля останется цветной, если все остальное стало серым.

Каждая строчка давалась с усилием – не только из-за той самой горечи, что оседала на языке, как пепел. Он через раз вспоминал, как год назад верил, что революция распахнет перед искусством все двери. А теперь все двери перед ним захлопывались, будто нарочно не давая ему заговорить на своем языке – ломаном, дерзком, не желающим укладываться в ровные, удобные строки.

Первый конфликт случился на собрании литературной секции при новом отделе искусств. Владимира пригласили «рассказать о творческих планах» — и он, все еще надеясь на понимание, прочел несколько отрывков из «Земля цветная». Зал был полутемным, на стенах висели агитационные плакаты, а в воздухе стоял запах сырости и свежей типографской краски.

Когда он закончил, в зале повисла тишина — не та благоговейная, к которой он привык на поэтических вечерах, а тяжелая, непризнанная. Потом с кресла поднялся плотный мужчина в кожаной куртке — председатель секции. Голос у него был громким, басистым, привыкший отдавать распоряжения.

— Товарищи, мы живем в эпоху великих дел, — начал он, глядя не столько на Владимира, сколько сквозь него. И после откашливания продолжил. — Нам не нужны цвета, нам нужна суть. Не «цветная земля», а земля, которую надо пахать. Не ломаный ритм, а четкий и ясный призыв. Искусство должно служить народу, а не прятаться за непонятными образами.

В этот момент в зале появились отдаленные шумы: кто-то одобрительно хмыкнул, кто-то зашептался. А Остряков стоял у кафедры, сжимая в пальцах листы с рукописью, и чувствовал, как эта горечь поднимается откуда-то из глубины горла и сворачиваясь в плотный ком.

— А если цвет — это и есть суть? — тихо, но отчетливо

произнес Володя. — Если именно цвет помогает человеку не забыть, что он живой?

— Если живой, то надо быть полезным, — жестко отрезал председатель. — А не красивым.

Спорить дальше не имело смысла. Остряков молча, свернул листы, сунул их в потрепанный портфель и вышел, не дожидаясь конца собрания. На улице шел медленный снег, оседая, на асфальт он сразу таял, превращаясь в грязную жижу под ногами. Володя остановился на углу, поднял воротник пальто и вдруг понял: его «цветная земля» никому здесь не нужна или нужна, но не такая, какую он им написал и рассказал – не его.

Он вернулся домой. Сел у остывающей печки, даже не сняв пальто, долго смотрел на исписанные страницы. Потом взял карандаш и на полях одной из них вывел твердым, резким подчерком: «Земля цветная. Горечь. 1918 г». И впервые за долгое время не стал дописывать новые строки. Пусть эти останутся последними, как точка, как рубеж, как признание того, что надежда ушла, оставив после себя только эту упрямую, горькую верность своему языку.

Прошло дня два-три с того собрания, а Владимир еще не успел до конца отпустить свою новую рукопись. Просто не хотел сдаваться. «Земля цветная» лежала в потрепанном портфеле, как что-то хрупкое и столь упрямое, будто сама рукопись знала: ее не хотят отпускать в мир – и оттого дер-

жалась крепче.

Выпив утром чашку чая, и взяв портфель, он пошел в отдел печати, где теперь решали, что можно издавать, а что нет. Помещение было длинным и холодным, вдоль стен стояли шкафы с папками, а в воздухе витал запах клея, пыли и старых красок. За столами сидели люди с усталыми лицами, листавшие рукописи, так словно были не тексты, а накладные: быстро, по диагонали, выхватывая главное. Или то, что они считали нужным. Остряков протянул папку.

— «Земля цветная», — тихо сказал он, будто название само по себе могло что-то объяснить.

Чиновник — сухой, с жесткой залысиной и очками на цепочке — взял листы. Шершавыми пальцами пролистал, задержался на паре строк, потом поднял глаза. В них не было ни враждебности, ни интереса — только привычная усталость.

— Цвета... — протянул он, будто пробуя слово на вкус. — Много цвета. И ритм какой-то... рваный.

— Это и есть стиль, — постарался говорить спокойно Владимир, но голос все равно дрогнул. — Я не хочу делать его «ровным».

Чиновник вздохнул, постучал пальцами по краю стола.

— Стиль — это хорошо. Но сейчас текста ждут другого. Нам нужны вещи, которые понятны каждому рабочему, каждому крестьянину. Чтобы не было «разгадывать». Чтобы не было этой... оторванности.

— Но разве оторванность — это обязательно плохо? — на-

стаивал Остряков. — Разве нельзя писать так, чтобы человек на секунду забыл, что на улице холодно, что на хлеб не хватает, что...

— Забывать сейчас нельзя, — прервал, его чиновник, жестко сказав. — Надо видеть ясно. Надо понимать куда идем. А тут... — он снова взглянул на рукопись, — тут слишком много «себя» и слишком мало общего дела.

Он пододвинул к себе бланк и начал заполнять графу «Решение». Владимир смотрел, как движется перо, оставляя ровные, аккуратные буквы, и чувствовал, как внутри все сжимается.

— Можно хотя бы сократить? — спросил он, уже почти шепотом. — Вычеркнуть лишнее, оставить главное...

— Сокращать тут нечего, — покачал головой мужчина, не поднимая глаз. — Тут надо переписывать. А если переписывать, то это уже будет не ваша вещь.

И поставил внизу листа размашистую резолюцию: «Не соответствует задачам текущего момента».

Владимир взял рукопись обратно, рука еле заметно дрожала. Сама же бумага теперь казалась не просто шершавой — она будто стала еще тяжелее, словно впитала в себя весь этот отказ. Он вышел на улицу. В лицо сразу захлестнул ветер, а писатель остановился, прижимая папку к груди.

По дороге домой он зашел в маленькую типографию, которую еще не успели окончательно подчинить общественным правилам. Там работал старый знакомый, тихий с паль-

цами, вечно измазанными типографской краской — Николай Родионов. Он выслушал рассказ Острякова и покачал головой.

— Сейчас никто не возьмется, — ответил Родионов тихо, оглядываясь по сторонам, чтоб никто не услышал. — Даже если я захочу. Придут потом, спросят: «Кто разрешил?» А у меня разрешения нет. Да и бумаги нет. Даже если бы и было... — вздохнул он на последних словах.

Владимир, молча, слушал приятеля. Спорить не хотело, да и в какой-то степени он понимал его — сейчас без разрешения ничего нельзя. Он поблагодарил Николая и снова вышел на улицу.

Дома он сел у печки, которая едва теплилась, и снова долго рассматривал страницы «Земля цветная». Потом достал карандаш и на первой странице, прямо под заголовком твердо вывел, почти с вызовом: «Не напечатано. Но не уничтожено».

Эта фраза стала для него как что-то вроде клятвы. Пусть мир требует ясности и пользы, пусть хочет простых и понятных для всех ритмов — но он не станет стирать свои цвета. Пусть они останутся только в этих рукописях, спрятанные между книгами, завернутые в пожелтевшие газетные листы. Пусть это будет его упрямое «нет» серости, которая обросла со всех сторон.

Взгляни: Земля усыпана цветом,

*А используют только тона.
Мы, как пигмент во всем этом...
Больше не увидим другие цвета!
Багрянцем сияли закаты,
Зеленым у дома цвела трава.
Охра, как заложенные давно газеты,
Лазурь, что больше не было на небе тогда!
Земля. Хроматический бред.
Да здравствует распад спектра!
Земля. Разноцветная язва.
Да здравствует горечь от сплошного властва!
Ты – выстрел в упор, без итогов.
Где цвет – это шрам, от новых слогов!1*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.